

А. В. Моторин, профессор НГУ им. Ярослава Мудрого.

Переход Руси к христианству в изображении Пушкина и Гоголя.

Сообщая В. А. Жуковскому о выходе в свет “Вечеров на хуторе близ Диканьки”, Гоголь заметил в письме от 10 сентября 1831 г.: “Сказка ваша уже окончена... И Пушкин окончил свою сказку!.. Какой рай готовите вы истинным христианам! И как ужасен ад, уготовленный для язычников, ренегатов и прочего сброду: они не понимают вас, и не умеют молиться”¹. В духе романтической иронии Гоголь с улыбкой говорит о важном, предлагает, но не навязывает утверждение: в современной “чисто русской поэзии”², основанной на русском народном творчестве, выражается истинное христианство, противостоящее как дохристианскому язычеству, так и околохристианскому отступничеству к языческим ценностям.

Сам Гоголь в своих “Вечерах на хуторе...”, с одной стороны, изображает самые разные случаи такого отступничества и представляет возможные последствия: от превращения в прах, в ничто (“Вечер накануне Ивана Купала”), в живого мертвеца (“Страшная месть”) до обливания помоями (“Заколдованное место”).

С другой стороны, в тех же “Вечерах...” отмечено, что в устной народной поэзии отображается переход от язычества к христианству и духовное христианское преобразование языческого сознания: “Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками... Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому”³.

Вскоре после выхода в свет “Вечеров...”, в статье “О малороссийских песнях”, помеченной 1833 г., Гоголь указал на мирность, ладность, естественность перехода от язычества к христианству в поэзии славян: “Они не изумляются колоссальным созданиям вечного Творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые необыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству”⁴.

Для русских романтиков, писателей и ученых времен Пушкина и Гоголя, дохристианское славянское язычество предстает каким-то по-особенному праведным, правым, приуготовленным к признанию христианства как более совершенного выражения Истины, Правды, веры, то есть верного (правильного и обоснованного) отношения человека к Богу. Славянское язычество в этом свете сопоставимо с детским простодушием, нелукавостью, неизощренностью, невинным неведением, наименьшей, какая только возможна,

греховностью в духе изречения Христа: “Аминь, глаголю вам, аще не обратитесь, и не будете яко дети, не внидете в царство небесное. Иже бо смирится яко отроча сие, той есть болий в царствии небеснем” (Мф. 18, 3). “Чисто русская поэзия” в своем естественном развитии являет миру благостное и складное покорение и усвоение языческой мифологии христианством, переход от одного строя веры к другому, более совершенному. Демонологические представления язычества в восхитивших Гоголя сказках Пушкина и Жуковского не отбрасываются, но преображаются христианской верой в Бога-Творца и в существование добрых и злых сверхчеловеческих духов, способных принимать самые разные обличья.

У Пушкина в “Сказке о царе Салтане...” “Блещут маковки церквей / И святых монастырей”, и “Хор церковный Бога хвалит” [т. 2, с. 306]⁵. Там молитвенное обращение к волне: “Ты волна моя, волна!.. Не губи ты нашу душу...” [с. 304] - определяется верой в духоносность стихий створенного Богом мира, в сопричастие во всем вещественном духовных сил и начал, как добрых, так и злых, как правило, недоступных человеческому пониманию, что и определяет обращение к ним по внешней их видимости. Это те остатки язычества, которые уже не связаны с многобожием, “покорены”, по выражению Гоголя, христианству и не противоречат христианскому богословию, признающему, что духи вездесущи и могут заключаться в вещественных предметах, в животных и в людях, определяя их состояние и движение. Не случайно в сказке Пушкина сразу вслед за обращением к волне вспоминается, Кто определяет поведение волн и всего сущего: “Бог неужто их покинет?” [с. 304]. В “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях” (1833 г.) присутствие Бога в мире еще определеннее: “Вот в сочельник самый, в ночь Бог дает царице дочь” [с. 333]. И молитвенное обращение королевича Елисея к ветру: “Ветер, ветер! Ты могуч...” - содержит уточнение: “Не боишься никого, Кроме Бога одного” [с. 345].

Вопрос о преимстве дохристианской и христианской праведности славян Пушкин решает преимущественно художественными средствами, полагаясь на свою творческую проницательность. В “Руслане и Людмиле” (1817 - 1820 гг.) изображаются времена князя Владимира Крестителя до принятия Крещения - в языческом еще состоянии. Однако положительные герои высоконравственны. Во время испытаний князь и подданные смиренно молятся; и не указывается, каким богам; просто Киев ждет “небесной казни” в “молитве” [с. 430 - 431]. Из высших богов поминается только Лель как покровитель брака Руслана и Людмилы. Этот бог любви словно бы олицетворяет христианское представление о любви как основном проявлении Бога. Руслан - носитель дохристианской воинской праведности, противостоящей черной магии. Он знаменательно внушает карле-колдуну: “Смирись, покорствуй русской силе!” [с. 413]. Благодетельный волхв Финн, союзник Руслана, предстает в образе почти что христианского отшельника: “В пещере старец; ясный вид, Спокойный взор, брада седая; Лампада перед ним горит; За древней книгой он сидит, Ее внимательно читая” [с. 370]. Но все-таки он занимается чародейством. И здесь важно уточнение: он - “природный финн” [с. 371], а не славянин. Совершенно откровенна связь нерусского Черномора с нечистыми духами: он “чернокнижным языком Усердно демонам молился” [с. 418]; он - “полнощных обладатель гор” [с. 370]. Славяне в поэме никак не связаны с “демонами”, злыми духами.

У Руслана по отношению к спящей Людмиле лишь “целомудренное мечтанье” [с. 416], и это как родственное христианству настроение отмечает “Монах, который сохранил Потомству верное преданье О славном витязе” [с. 417]. Во вступлении к поэме (1828 г.) автор указывает, что в изображаемом мире славянского язычества много “чудес”, “неведомого” и “невиданного”: “Там русский дух... там Русью пахнет!” [с. 364]. Этот дух близок православному монаху, сохранившему “преданья старины глубокой” [с. 364].

В счастливой развязке повествования нечестивые враги получают христианское по сути прощение, - не только Фарлаф, но и Черномор: “Лишенный силы чародейства, Был принят карла во дворец” [с. 434]. Заключительное пиршество-обряд, проникнутое духом любви и мира, знаменует полную приуготовленность славян к принятию новой веры.

Сходные представления о предхристианском язычестве Древней Руси даны уже без всякой романтической иронии в “Песни о вещем Олеге” (1822 г.). Вера славянского волхва напоминает смиренное мистическое единобожие, а не многобожескую магию: он - “Покорный Перуну старик одному, Заветов грядущего вестник, В мольбах и гаданьях проведший весь век” [т. 1, с. 169]. Никаких оттенков языческого непотребства в его вере не обозначено. Варяг Олег представлен скорее как славянин, нежели норманн (по народообразующим признакам - языку и вере): он почитает славянских жрецов и верховного бога Перуна, он исполняет славянские обряды. Он суров, но праведен, его воинственность сдержанна. Он уже прибил “щит на вратах Цареграда” [т. 1, с. 169], но не разорил этот православный город. Он собирается “отмстить неразумным хазарам” [с. 169], но не нападает на них первым, словно бы в точности придерживаясь Ветхого иудейского завета (“око за око”) в отличие от хазар, исповедовавших иудаизм лишь по видимости. Славянское язычество оказывается сродни древнееврейской праведности, вполне признанной христианством. И не случайно в завершении песни дается емкий символ любовного, “брачного” союза язычества и Православия на Руси: “Князь Игорь и Ольга на холме сидят” [с. 171] - супруги, один из которых так и умер язычником, а другая стала первой крестительницей Руси.

Позднее, в 1829 г., в стихотворении “Олегов щит” Пушкин своеобразно намекнул, что сам Олег, прозванный, по летописному свидетельству, “вещим” после похода на Константинополь, именно как вещей провидел грядущий духовный союз Руси и Византии - союз на основе Православия. По замыслу Пушкина, словно бы дух Олега в очередной раз, в 1829 г., спас бывший православный Константинополь (нынешний исламский Стамбул) от разорения русским войском: “И нашу рать перед Стамбулом Твой старый щит остановил” [с. 307]. Как некогда Олег и язычники-славяне, словно бы предчувствуя свое православное призвание, не тронули Константинополь, так и теперь православные славяне вновь отказались от насилия над великим городом, утратившим православную веру, поскольку он в духовном смысле опять обещает стать близким, своим. В течение 1830-х годов русское государство преследовало цель по возможности ненасильственного вовлечения усмиренной Турции в пределы своего влияния (как это происходило со многими народами, вошедшими в состав державы).

В незавершенной поэме “Вадим” (1822 г.) Пушкин описывает славянина-варяга, который долгое время жил с варягами-норманнами: “На западе, на юге бился, Деля до-

бычу и труды С суровым племенем Одена” [Пушкин 1969, т. 3, с. 186]. Однако славянин не изменяет своей вере и возвращается в родные новгородские края. Очевидно, Пушкин склонялся к исторической концепции Ломоносова, считавшего варягов, приглашенных в Новгород, воинственной частью северных славян. Несколько ранее, в наброске замысла трагедии “Вадим” (1821 г.) Пушкин пишет о “славянине Рюрике” [т. 3, с. 526]. В поэме “Вадим” благословение старика славянскому воину представляет языческую веру как наделенную чертами мистической праведности и созвучную ветхозаветному иудаизму, а упоминание трех божеств вместо одного может восприниматься как древнеславянское предвидение христианской Троицы: “Да сохранит тебя Перун, Родитель бури, царь полнощный, И Световид, и Ладо мощный; Будь здоров до гроба, долго юн, Да встретит юная супруга Тебя в веселье и слезах, Да выпьешь мед из чаши друга, а недруга низринешь в прах” [с. 188 - 189].

В наброске плана поэмы “Мстислав” (1822 г.) Пушкин представляет времена, наступившие сразу по Крещении Руси. Главный герой - Мстислав Удалой, сын князя Владимира. Действуют богатыри Илья Муромец и Добрыня. Крещение не вызывает духовной смуты на Руси. Богатыри полагаются на христианскую веру. “Илия находит пустытника, который пророчествует ему участь России” [с. 244]. Однако новая вера испытывает разнообразные искушения и нападения извне, от различных языческих народов: “На Киев нападают соединенные народы - ... Боги языческие, изгнанные крещением, их воодушевляют” [с. 243]; “на Россию нападают с разных сторон все враги ее” [с. 244]. Борьба идет не только за народ, но и за каждую личность. Царевна косоогов, дочь волшебницы и сама волшебница, пытается прельстить Мстислава “чародейством”. Не славяне борются с христианством, а со славянами, принявшими христианство, борются все окружающие язычники.

Гоголь, будучи профессором всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете, в набросках очерка о славянах в 1834 г. проводит мысль о том, что древние славяне – хранители первозданно-первобытной веры, не замутненной переселениями. Ссылаясь на Прокопия, Гоголь отмечает в славянских верованиях признаки мистического единобожия, напоминающего древнееврейское: “... Творца молний почитали единым господом и богом мира, приносили ему в жертву волов и других зверей. Судьбу не признавали: в опасности обещали жертву Богу”⁶. Их вера отличается мистической праведностью, смиренностью, отвержением насилия, ненавязчивостью, стремлением сохранить свой самодостаточный первозданно-благостный мир: “Славян вдвинули в историю, можно сказать, все эти их завоеватели и повелители”; у славян “характер коренной, настоящий”, сохраняющийся при “гибкости и изменчивости под чуждыми владениями”⁷; и напротив, постоянно происходило “уничтожение в их потомках и многочисленности их покорявших властителей”⁸. В собственной жизни “славяне русские” “смирны, довольно согласны между собою все племена”⁹.

По мнению Гоголя, у славян “греческие, поэтически созданные язычество и мифологический мир”¹⁰. Позднее, в главе “Выбранных мест из переписки с друзьями” – “Об Одиссее, переводимой Жуковским” (1846 г.) – Гоголь вернется к мысли о духовном родстве греческого и славянского язычества, причем, подчеркнет прохристианскую праведность этого духа: для полного понимания и точного перевода Гомера нужна “чистота девственного вкуса”, которая ныне сохранилась нетронутой от первобытной древности

только в русском языке, “полнейшем и богатейшем всех европейских языков”; Жуковский переводит как “христианин”; он прояснил в Гомере и очистил от тяжелых языческих наслоений все те мистические сокровища, которые близки и приятны христианам: “Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера”¹¹. От этого перевода веет “простотой почти младенческой”; это “самое нравственнейшее произведение”, хотя и выражающее “многобожие”¹². Смиренно-молитвенное поклонение язычников-греков своим богам созвучно мистической праведности христиан, получивших откровение об истинном Боге, а потому “та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву”¹³. Гомер представлен в статье хранителем, выразителем и, в сущности, богоугодным прорицателем, пророком и насадителем мистической первобытной нравственности греков, причем нравственность эта оказывается не менее праведной, чем древнееврейская (признанная христианами вместе в Ветхем Заветом), и очень похожей на дохристианскую нравственность славян, как она описана в исторических набросках Гоголя в 1834 г.: “Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благодать и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа и что ничего не может он сделать собственными силами, словом всё ... говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, ... когда один только божественный старец все видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!”¹⁴.

Близкое Пушкину, Гоголю и многим их современникам представление о дохристианской праведности славян, а, следовательно, и об их богоизбранности и, соответственно, о мирном переходе Руси от язычества к христианству проходит через весь XIX век, отражаясь не только в художественных произведениях писателей, но и в научных разысканиях историков, филологов.

¹ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. [М.; Л.], 1937-1952. Т. 10. С. 207 - 208.

² Там же. С. 207.

³ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 1. С. 91.

⁴ Там же. Т. 7. С. 164.

⁵ Здесь и далее произведения Пушкина приводятся по изданию: Пушкин А. С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. В скобках вслед за выдержками указываются том и страница.

⁶ Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 8. С. 12.

⁷ Там же. С. 17.

⁸ Там же. С. 16.

⁹ Там же. С. 14.

¹⁰ Там же. С. 17.

¹¹ Там же. Т. 6. С. 26.

¹² Там же. С. 27.

¹³ Там же. С. 28.

¹⁴ Там же. С. 29.